

с. 2-3.

КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ.

Человѣкъ въ футлярѣ.

Было время, когда Чеховъ еженедѣльно предпосылалъ публикѣ по одному, а то и по два своихъ живыхъ, бойкихъ и остроумныхъ рассказовъ въ «Осколкахъ» или въ «Будильникѣ». Эти рассказы онъ подпisyвалъ псевдонимомъ «Чехонте» и она далеко не всѣ вошли въ отдѣльныя издавiя его произведений.

Быстро завоевывавшiя вниманiе читающей публики Чеховъ сталъ писать меньше и меньше съ каждыиъ годомъ; количество уступило мѣсто качеству. «Чехонте» превратился въ Антона Павловича Чехова, каждое произведение котораго возбуждало серьезное вниманiе читателей и живые толки въ обществахъ и въ печати. Критика отвела ему выдающееся мѣсто въ русской литературѣ и произведенiя его стали переводиться почти на всѣ европейскiя языки. Это отношенiе читателей заставило Чехова серьезно относиться къ своему крупному художественному дарованiю, и его послѣдующiя произведенiя стала носить на себѣ печать все болѣе и болѣе вдумчиваго и глубокаго отношенiя къ жизни и творчеству.

Его уверяли въ томъ, что онъ чересчуръ безучастно относится къ героямъ своихъ произведений, что его художественный аппаратъ одинаково безразлично засѣкаетъ какъ самоубiцу и королю, похищенiю бубенчакими. Чеховъ далъ «Идиоту № 6», «Чайку» «Идиота» и сколько другихъ произведений, которыми какъ бы хотѣлъ опровергнуть это мнѣнiе, но это ему не совсѣмъ удалось. *Suum cuique*. Свойства таланта не передаются. Да это и приди ли и требуетъ. Каждому свое. Гончаровъ былъ величайшiй художникъ, несмотря на то, что въ этомъ отношенiи, по характеру своего дарованiя, онъ имѣлъ много общаго съ Чеховымъ. Гончаровъ также почти безучастно къ своимъ героямъ, съ той только, конечно, разницей, что талантъ Гончарова охватывалъ широкiе горизонты. Онъ смотрѣлъ на ширь, такъ связать *à tout d'oiseau*, а Чеховъ смотритъ въ маленькаго ошкетча и не пропускаетъ ни одного ошкетча на утѣхъ, поданнншей кашкой, ни выхлестаго декадента, ни *человѣка въ футлярѣ*.

Чеховъ, это нашъ Мопассанъ, нѣсколько меньшаго калибра, однако, чѣмъ Мопассанъ французскiй. Онъ породилъ цѣлую массу подражателей среди молодыхъ русскихъ беллетристовъ, и это гдѣ ужъ говорить о силѣ и увлечательности его дарованiя. Но до сихъ норъ еще никто не далъ ему настоящей и всесторонней оцѣнки, никто не отиѣтилъ всѣхъ тонкихъ нагисовъ его великаго и впечатлительнаго таланта. Отиѣчали его тонкую наблюдательность, его «объективность», (понимѣ чрезвычайно банальное, но довольно така безмысленное), суверенность и одностороннѣе его настроенiя и проч. черты, словомъ, отиѣлывались общими мѣстами. Но, несомнѣнно, будетъ время, когда Чеховъ дождетъ своего настоящаго цѣнителя. Это будетъ тогда, когда... его дождетъ также В. Г. Короленко и другiе молодые писатели, которыхъ публика цѣнитъ въ настоящее время гораздо болѣе, чѣмъ критика.

Да и то сказать. Кому цѣнить то нѣтъ. Старые критики: Михайловскiй, Скабичевскiй и даже Буренинъ, какъ будто устали, и относятся къ молодымъ писателямъ какъ-то равнодушно. А изъ молодыхъ—не Акимъ-же Волынский, утонувшiй въ лужѣ надутаго самовнѣшiя и въ таиѣ философскаго суетловiя и вустомислiя, не Жакъ-же Абрамовъ, критическе чутье котораго не идетъ дальше способности отлечать своего козавна отъ чужого, не де-саванъ-же другiе притѣкановъ, которые потому только и считаютъ себя капиталами, что взяли въ руки критическiя палки и называютъ ими направо и налево, вездѣ и впердѣ, такъ что чортъ не разберетъ, что со ственно они считаютъ дурнымъ и что хорошимъ.

Я вовсе не навѣренъ писать критическiй статью о Чеховѣ, да и не дѣло это газетнаго работника. Предположу стоить «Человѣкъ въ футлярѣ», требующiй къ себѣ серьезнаго вниманiя и не столько, какъ художественно созданный образъ, сколько, какъ правдиво наиѣченный типъ, силуэтъ, встрѣчающiйся намъ на каждомъ шагѣ, на всѣхъ ступеняхъ нашей общественной лѣстницы во всѣхъ углахъ и щеляхъ нашей суетливой, нездоровой и уродливаго жизни.

Какъ уже знаетъ наиѣстно, читатель, «Человѣкъ въ футлярѣ»—новое произведение Чехова, напечатанное въ послѣдней книжкѣ «Русской Мысли».

Занимает это произведение всего только 12 страницек и, тем не менее, оно больше останавливает на себе внимание, чем целый роман г. Боборыкина,—такова способность настоящего художника схватывать истинно-типичны и знаменательны для нашего времени явления.

Г. Боборыкин, гонимый всегда за временем, как часовая стрелка, запечатлел, повидному, все в своих романах, что в данный момент является, так сказать, знамением времени. У него пляшут в пространях, как площадь, и длинных, как большая дорога, романах, под любовную дудку,—декаденты, и маркизеты, и толстоты и паписты... Он все видел, высмотрел в кулуарах жизни и не забыл только слова: «человечка в футляре». Его открыл Чехов, и г. Боборыкин должен был опустить от знания при этом открытии, так как, несмотря на всю поверхностность, на все недостатки в обрисовке Чеховым этого, столь удачно схваченного и названного «Человечком в футляре» — типа, наименование это должно войти в жизнь и множество человечков в футляре будут мгновенно узнаны теми, кто постиг по слабым намекам всю сущность этого особенно знаменательного для русской действительности явления.

У Чехова — человечком в футляре является учитель греческого языка в провинциальной захолустной гимназии — Бляков.

«Он был замечательней тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в галошах и с зонтиком, и непрестанно в теплое пальто на ват. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле и в суровой замше и, когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его из поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой и, когда сидел на извозчика, то приказывал поднимать веревку. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себя, так сказать, футляр, который удерживал бы его, защищал бы от внешнего влияния. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге и, быть может, для того, чтобы

оправдать эту свою робость, свое отращивание к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности теми же галошами и зонтиком, куда он прятался от действительной жизни.

— О, Как звучит, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением, и, как-бы в доказательство своих слов, прищурив глаза, поднимая палец, произносил:

— Антропос!

И мысль свою Бляков также старался запирать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось чтонибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после десяти часов вечера, или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было ясно: запрещено и basta. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разбегались драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и тихо говорил:

— Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да — как бы чего не вышло.

Не кажется ли вам, читатель, классической эта последняя фраза, в связи с образом, так часто и такими простыми чертами замеченный талантливым художником?..

Не знаком ли вам контур этой фигуры? Не стоят ли он у вас на пути, как странный, гнетущий призрак, как олицетворение предчувствия, порожденного глухой и сдавленной жизнью обществу, запуганного и стесняемого разными нелицеприятностями, условностями, формами, отжилившими свой век, но все еще державшимися на гнилых подпорках, единственно потому, что неоткуда повзять свежему ветру, чтобы сразу свести их и развить, как пелену.

— Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да — как бы чего не вышло!

Видь эту фразу нам с вами придется слышать тысячи раз, от тысячи — Бляковых, одетых в самые разнообразные костюмы, занимающих разнообразные положения в обществе, приходится слышать каждый раз, как затвояется какое-нибудь новое дело, не

представленное в циркуляре, хотя бы это дело носило на себе следы и очевиднейшей благонамеренности, и клонилось к пользе общества; каждый раз, как высказывается мысль, не указанная тем или другим параграфом, хотя бы эта мысль была невинна, как дыхание цветка или свит зарю.

— Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да — как бы чего не вышло!

Раздается в ответе вам злобное-шипящее, раздражающее, нелицеприятное, пугающее фразы, и мысль тревожно сжимает крылья и опасливо оглядывается по сторонам, ожидая какого-то «жулика».

«Из самого дела», как бы чего не вышло. Как это повторять те, от кого, повидному, меньше всего можно было бы ожидать этой фразы... Вы с негодованием и возмущением оглядываетесь на них, вам хочется крикнуть: «Постыдитесь! Видь это же нелицеприятно! Видь тут нет даже слабого намека, даже признака чего-нибудь такого»!..

Но вдруг, в этот самый момент вы чувствуете, сами чувствуете, с безотчетным ужасом и волнением, что внутри вас какой-то голос тоже начинает повторять бессмысленно, но настойчиво: «Как бы чего не вышло! Как бы чего не вышло»!..

И начатое дело, оспрогно, засыхает и гибнет.

Такова подавляющая, гипнотизирующая сила этой трусливой пошлости, создающей вокруг нас атмосферу недоверия и тупой инертности, атмосферу, заставляющую нас замыкаться в свою скорлупу, в свой футляр, и страшиться показать на свободу нос из этого футляра, хотя бы для того, чтобы вздохнуть свежим воздухом и увидеть мир Божий, небо и солнце — на что имеет полное право всякий клочок, а не только существо, созданное по образу и по подобию Божию. Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние. Характеризуется дальше своего героя рассказчик. «Хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебень, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видел классную даму поздно вечером с офицером, то он очень возмущался и все говорил: как бы чего

не вышло. А на педагогических совѣтахъ онъ просто угнеталъ насъ своею осторожностью, тщательностью и своими чисто футлярными соображеніями насчетъ того, что вотъ де въ мужской и женской гимназіяхъ молодежь ведетъ себя дурно, очень шумитъ въ классахъ,—ахъ, какъ бы не дошло до вачальства, ахъ, какъ бы чего не вышло,—и что если бы въ второго класса исключить Петрова, а въ четвертаго—Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, пытками, своими темными очками наблюденьемъ, маленьковъ лицъ,—знаете, маленькомъ лицъ, какъ у хорька,—онъ давилъ насъ всѣхъ, и мы уступали... «Мы, учителя, боялись его. И даже директоръ боялся. Вотъ пойдите же, наши учителя народъ все мыслящій, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневѣ и Щедринѣ, однако же, этотъ человекъ, ходившій всегда въ калошахъ, съ зонтикомъ, держалъ въ рукахъ всю гимназію цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ! Да что гимназію? Весь городъ! Наши дамы по субботамъ домашнихъ спектаклей не устраивали, боялись, какъ бы онъ не узналъ; и духовенство стѣснялось при немъ кушать скоромное и играть въ карты. Подъ влияніемъ такихъ людей, какъ Вѣликовъ, за послѣднія десять—пятнадцать лѣтъ, въ нашемъ городѣ стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бѣднымъ, учить грамотѣ».

Въ домашней жизни Вѣликовъ былъ тотъ же «талать, колпакъ, ставни, задвижки, цѣлый рядъ всякихъ запрещеній, ограниченій, и—ахъ, какъ бы чего не вышло! Постное ѣсть вредно, а скоромное нельзя, такъ какъ, пожалуй, скажутъ, что Вѣликовъ не исполняетъ постовъ, и онъ ѣлъ судака на коровьемъ маслѣ,—пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги онъ не держалъ, изъ страха, чтобы о немъ не подумали дурно, и держалъ поваря Афанасія, старика лѣтъ шестидесяти, нетрезваго и полуумнаго, который когда то служилъ въ девицкахъ и умѣлъ кое-какъ стрипать. Этотъ Афанасій стоялъ обыкновенно у двери, скрестивъ руки, и всегда бормоталъ одно и то же, съ глубочайшъ вздохомъ:

— Много ужъ нѣтъ нынче развелось!

Спальня у Вѣликова была маленькая, точно ящикъ, кровать съ пологомъ. Ло-

жась спать, онъ укрывался съ головой; было жарко, душно, въ закрытыя двери стучался вѣтеръ, въ печкѣ гудѣло; слышались вздохи изъ кухни, вздохи зловѣщіе...

И ему было страшно подъ одеяломъ. Онъ боялся, какъ бы чего не вышло, какъ бы его не зарѣзали Афанасій, какъ бы не забралась морь; в потномъ всю ночь видѣлъ тревожные сны, а утромъ, когда мы вѣсѣли шли въ гимназію, былъ скученъ, блѣднѣлъ и было видно, что многоядная гимназія, въ которую онъ шелъ, была страшна, противна всему существу его и что идти радъ бы со мной ему, *человѣчку по натурѣ одинокому*, (мой курсивъ) было тяжело.

Въ этой природной склонности къ одиночеству авторъ, очевидно и видитъ загадку изображеннаго имъ характера.

«Людей, одинокихъ по натурѣ, которые, какъ ракъ отшельникъ, или улитка, стараются уйти въ свою скорлупу, на этомъ свѣтѣ не мало»,—говорятъ рассказчики. «Быть можетъ, это явленіе атавизма, возвращеніе къ тому времени, когда предокъ человѣка не былъ еще общественнымъ животнымъ и жилъ одиноко въ своей берлогѣ, а можетъ быть это просто одна изъ разновидностей человѣческаго характера,—кто знаетъ? Я не естествоиспытатель и не мое дѣло касаться подобныя вопроса»...

Признаться сказать, и естествоиспытателю да не захѣтъ соваться. Это дѣло скорѣ психолога, даже—психіатра. Не одиночество заставляетъ людей трепетать каждаго шага своего, каждаго отклоненія съ указанной тропиночки, хотя бы оно было сдѣлано для того, чтобы помочь въ бѣдѣ своему ближнему. При чемъ тутъ одиночество, или возвращеніе къ животному періоду, когда въ одиночествѣ—внутренняя свобода, а въ животномъ періодѣ—борьба, то-есть, именно то, чего больше всего боится Вѣликовъ всѣхъ видовъ и состояній. Для большей убѣдительности авторъ даже заставляетъ своего героя умереть какою то загадочной смертью только отъ того, что Вѣликовъ, ненуждаемый взвѣй, едва не разстался съ своимъ одиночествомъ т. е. едва не женился на сестрѣ учителя малоросса, своего товарища по гимназіи.

Это нелѣпное сновидство окончилось снѣгомъ небытия и смертью Вѣликова.

«Когда онъ лежалъ въ гробу, выража-

ние у него было кроткое, притворное, даже веселое, точно он был рад, что, наконец, его положили в футляр, из которого уже он никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала. И как бы в честь его, во время похорон, была пасмурная, дождливая погода и все мы были в калошах и с зонтами».

«Признаюсь, хоронить таких людей, как Виликов, это большое удовольствие». Заявляет, между прочим, рассказчик. «Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постылые физиономии, никому не хотилось обнаружить этого чувства удовольствия, — чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще из детства, когда старшие утешали нас дома и мы бегали в саду час — другой, наслаждаясь полной свободой. Ах, свобода! Свобода! Даже намеки, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья. Не правда ли?»

Как? Неужели же никому из провожающих Виликова, не жаль было этого несчастного человека в футляр? Неужели ничье сердце не сжалось тоской и мучительной болью за этого человека, из боязни никогда не знавшего ни светлой улыбки, ни нишевой радости, потому что он не указанный ни в каком циркуляре? Этого не может быть! Виликова нельзя было не пожалеть, как жертву драки, который мы сами поддерживаем из страха, как бы чего не вышло, когда расцветает тьма и забрезжит свет...

Тут сказался Чехов, юмор которого почти лишен того высокого качества, которыми так богаты были Гоголь, жалевший не только Акакию Акакиевича, но и Плюшкина, сивявшийся над ними сквозь неяркие миру слезы.

А кого бы нам и жалеть, над кем бы нам и плакать, как не над несчастным человеком в футляр? Видь мы родные его, плоть от плоти и кровь от крови. Виликов — это черная тень, которая и днем и ночью бродит с нами и пугает нас, когда мы хотим двинуться вперед, так как нам кажется, что эта тень зловещим пугалом стоит на нашем пути.

Не даром рассказчик говорит:

«Мы вернулись с кладбища в добром расположении, но прошло не больше недели, и жизнь потекла попрежнему, такая же суровая, утомительная, безтолковая, жизнь не запрещенная циркулярами, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Виликова

похоронили, а сколько еще таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет?»

Вот то-то и оно! Виликов был только фокус, в котором сосредоточились все эти типичные черты футлярной жизни. Оттого, что фокус погиб, черты не погибнуть. Основы их лежат глубоко в нашей природе, изуродованной больше, чем природа всех других народов, татарскими восточным игом, крепостным рабством и тому подобными эквивалентами нашей жизни, условиями нашего бытия и наших отношений.

«А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр?»

«Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты чернишь эту ложь, свести обиды, унижения, не смей открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какогонибудь чинишки, которому грошь цена, — видеть, больше жить так невозможно!»

Восклицает собеседник рассказчика...

И сотни тысяч людей готовы повторить, что жить так невозможно и все-же не жить не могут, а разбить футляр, сбросить его к черту, не глядя на последствия, — и подавно, потому что с этими футлярами мы чуть-ли не родимся на свет, как от хитрой родится в скорлупе, которую разбивают только тогда, когда это ядро хотят съесть.

Да, жить так невозможно, а не жить — нельзя, вот люди и лгут, боясь друг друга и самих себя и призраков своей больной фантазии.. Когда же будет конец этому? Когда же свобода духа сама разобьет этот футляр и человек увидит в человеке брата?

Я не сказал почти ничего о литературных достоинствах и недостатках нового произведения нашего талантливого беллетриста. Но, на мой взгляд, в данном случае это не суть важно. Спасибо и за то, что Чехов дал нам врный и правдивый контур того типа, который носится в воздухе давно, но до сих пор еще не был затронут ни одним художником.

А. Федоров.